

НАВЕРНОЕ, во всех театрах и во все времена незадолго до премьеры одно и то же: нервы, нервы, нервы...

Вот и на репетиции во МХАТе неожиданно все останавливается, потому что Иннокентий Смоктуновский, играющий чеховского Иванова, вместо привычной реплики вдруг бросает:

— Что я, ору?! Эта сцена так меня напугала, что я не понимаю, я это или не я?

— У меня нет такого ощущения, — спокойно отвечает из зала Олег Ефремов, постановщик спектакля.

Смоктуновский. У меня нет запаса голоса для перехода! Хороший актер не должен показывать «потолок», а у меня — сплошной «потолок»!

Ефремов (примирительно). Это, по-моему, вы неправильно говорите. Люди в зале должны слышать текст...

Смоктуновский. Я знаю другое: сделай удобно актеру, тогда он тебе подарит радость.

Ефремов. В искусстве часто под «удобно» понимают «привычно»...

Смоктуновский (уходит за кулисы и уже оттуда бросает). И виолончель орет — просто сил нет!

Ефремов. Виолончель, тише!

Киндинов (глядя на два пятна света на полу перед собой). А мне куда? Где «мое» пятно?

Ефремов. Это вообще не «твой» пятно. (Осветителем). На Киндинове нет света!

Киндинов. А на меня никогда не дают света, так что я привык...

Уже несколько дней в огромной декорации помещицкого дома «сбиваются куски», до того разученные отдельно. И понятно; что большая сцена, заменившая репетиционные комнаты, принесла большие заботы: теперь иначе должны звучать голоса, произноситься диалоги и монологи — здесь ведь все слышно совсем по-другому, а мизансцены, прежде едва намеченные, обретают ныне трехмерность. Надо «ставить свет», вводить музыку и шумовые эффекты, «оживлять» костюмы. Главное же — добиваться взаимодействия на сцене. «Ощущайте партнера!» — то и дело бросает постановщик. Говоря техническим языком, сейчас происходит сборка и наладка того чудовищно сложного механизма, который зовется — спектакль.

В зале темно, лишь тусклая лампочка слабо освещает несколько листов бума-



Иннокентий СМОКТУНОВСКИЙ



Олег ЕФРЕМОВ

Олег ЕФРЕМОВ: СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ В ЧЕХОВСКОМ ЗАЛЕ...

ги да карандаш на столе, за которым сидит режиссер.

Когда Ефремов молча слушает, можно смотреть только на него — и получить полное представление о том, что происходит за шесть рядов впереди, в просторной декорации. Беззвучно шевеля губами, он — реплика за репликой, диалог за диалогом — синхронно повторяет с актерами текст. Но вот смеется Е. Евстигнеев (граф Шабельский) — и Ефремов расплывается в улыбку, плачет А. Попов (Лебедев) — и у Ефремова морщится лицо. Вот Саша (Е. Кондратова) твердит: «Будет!.. Свадьба будет!» — и у Ефремова губы тоже дважды вытягиваются «трубочкой». Иванов кричит: «Я погиб!» — и Ефремов утвердительно кивает головой, а губы его беззвучно шепчут: «Погиб!»

То он сидит за режиссерским столиком и курит, курит, курит, щелкая зажигалкой при каждой новой сигарете, то идет в амфитеатр или в первый ряд, то стоит в проходе или слушает, подавшись вперед и опершись двумя руками о рампку.

— ...Очень хорошо! — восклицает Ефремов, посмотрев эпизод. — Только все не так... — И продолжает объяснять уже на сцене, мгновенно копируя то походку М. Прудкина, то интонацию Смоктуновского.

— Прощу прощения, — говорит он, уходя со сцены. — Дальше.

— Если можно, то не в полный голос сцену проводите, — просит артист, — чтобы можно было все «пристроики» спокойно вывернуть...

— Ну, пожалуйста, Иннокентий Михайлович...

Пронгивается другой эпизод.

— Очень хорошая сцена,

— констатирует режиссер. — Один говорит Иванову, другой говорит... Нет от них спасения. Возникает ощущение какой-то загнанности.

...Еще эпизод: граф Шабельский заканчивает монолог, потом, согласно ремаркам Чехова, Анна Петровна открывает окно и смеется. Окно, действительно, открывается, и Екатерина Васильева на самом деле смеется, но Ефремов говорит:

— Катя, рано смеешься!

— Я не знала, что граф будет еще петь по-французски — этого в тексте нет...

— Я могу не петь... — обижено отвечает Прудкин.

— Пойте, — примирительно говорит режиссер, — а Катя засмеется потом. Катя, понятно?

...Эпизод финала — доктор Львов (Е. Киндинов) говорит Боркину (В. Невинный): «...Я считаю для себя униительным не только драться, но даже говорить с вами!» Невинный отходит в сторону, садится на стул спиной к зрителю и плачет.

— Стоп-стоп-стоп! — кричит Ефремов уже из кресла первого ряда. — Так, Слава, не пойдет! Почему ты плачешь?

— А что еще делать? Он ведь мне такое сказал. А монолог у меня нет...

— А внутренний монолог есть?... — спрашивает режиссер под общий смех. — Вот его ты и играй...

...Еще эпизод: объяснение Иванова и Анны Петровны из третьего акта. Уже сейчас, на репетиции, Смоктуновский проводит дуэт необычайно сильно: истерика «сорвавшегося» Иванова выглядит «клинически достоверно». Срывающийся голос, излом судорожно сжатых рук, странно испуганные, деревянные, раздвинутые «циркулем» ноги...

— Я его очень люблю — это очень редкая индивидуальность, — говорит Ефремов о Смоктуновском в перерыве. — Я имею в виду и лицо его, и какие-то человеческие качества, в нем заложенные, его доброту и интеллигентность — все это для роли подходит. А остальное зависит от него. Репетировать мы начали где-то в феврале, но работали с перерывами...

— «Иванов» — первая чеховская пьеса, которую вы ставите после перехода во МХАТ. Почему — «Иванов»?

— Как известно, Чехов — тот драматург, который в свое время определил в Художественном театре его эстетику, его вкусы... Даже зрительный зал, где мы сейчас находимся, — еще Станиславский об этом говорил — такой не крикливый, помогающий сосредоточиться, тоже чеховский. Поэтому, конечно, мне обязательно надо было поставить Чехова в театре, иначе, так сказать, непонятно, насколько ты... ну, понимаешь хотя бы природу искусства этого театра и, главное, его эстетику.

Теперь — почему «Иванов»?.. Хотя бы просто потому что «Три сестры» в постановке Немировича-Данченко еще идут, «Чайка» в постановке Ливанова еще не сошла со сцены, еще сохранились декорации «Дяди Вани» и «Вишневого сада», а что касается «Иванова», то даже из наших стариков никто не помнит этого спектакля. По сути, «Иванов» — первая серьезная пьеса Антона Павловича, где, по-моему, сохранились все ведущие линии его будущей драматургии и где он местами еще только подступает к своей эстетике, хотя иногда и заявляет ее вполне опреде-

ленно. Вот мне и хотелось подступать вместе с ним. Потому что, конечно, чеховский репертуар обязательно должен идти во МХАТе — и всегда.

Кстати говоря, мы же ведь делаем и еще один чеховский спектакль — из его рассказов и одноактных пьес, где будут заняты наши старейшие актеры.

— Кто инсценировал рассказы и кто режиссер?

— Режиссер — Е. Радомысленский. А что там инсценировать? Там уже есть режиссерская мысль. В общем же, это старая идея — еще Станиславского — идея «Пестрых рассказов», которая потом неоднократно использовалась другими театрами. Но она возникла в свое время во МХАТе, и поэтому мы, конечно, имеем право на такой спектакль. И что наши старики там заняты, — тоже понятно: это и воспоминание о Чехове, и о Чехове в Художественном театре...

Самое же главное, почему Чехова надо ставить именно в этом театре: он составляет как бы заново осмыслить то направление в искусстве, которое должен осуществлять МХАТ...

Кончился перерыв, опять ожила сцена, прошло несколько минут...

— Извините, бога ради! — проговорил Ефремов, прерывая репетицию. — Иннокентий Михайлович, не уходите так далеко стреляться.

— Хорошо-хорошо...

— И почему на Смоктуновском нет света? — режиссер выбежал на сцену, стал в полутьме рядом с актером и обвел рукой вокруг головы, словно чертил нимб. — Вот здесь должен быть свет. — Тотчас ударил прожектор. И, возвращаясь на место, Ефремов бросил фразу, которую до того повторял уже десятки раз: «Братцы, ощущайте партнера!»

...Только что состоялась премьера. Но спектакль — это уже разговор особый...